

Сергей Гандлевский
Бездумное былое

Сергей Гандлевский

Бездумное былое



ИЗДАТЕЛЬСТВО **астрель**

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Г19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО
Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ
В книге использованы фотографии из архивов С. ГАНДЛЕВСКОГО,
Н. РАТНЕР и В. С. СЕРГИЕНКО.
Фотография на обложке РОМАНА СПЕКТОРА.

Г19 Ганделевский, С.
Бездумное былое / СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ; — М.: Астрель:
CORPUS, 2012. — 160 с.

ISBN: 978-5-271-43392-4 (ООО «Издательство Астрель»)

Сергей Ганделевский — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Окончил филологический факультет МГУ. Работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем; в настоящее время — редактор журнала «Иностранная литература». С восемнадцати лет пишет стихи, которые до второй половины 80-х выходили за границы в эмигрантских изданиях, с конца 80-х годов публикуются в России. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Малая Букеровская», «Северная Пальмира», «Аполлона Григорьева», «Московский счет», «Поэт». Стипендиат фонда «POESIE UND FREIHEIT EV». Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, Германии, США, Нидерландах, Польше, Швеции, Украине, Литве, Японии. Стихи С. Ганделевского переводились на английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, польский, литовский и японский языки. Проза — на английский, французский, немецкий и словацкий.

«Бездумное былое» — «беглые мемуары», по определению автора, которые начинаются историей семьи и заканчиваются декабрем 2011-го, многотысячными московскими митингами протеста.

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN: 978-5-271-43392-4 (ООО «Издательство Астрель»)

© Сергей Ганделевский, 2012
© А. Бондаренко, оформление, 2012
© ООО «Издательство Астрель», 2012
Издательство CORPUS ®

БЕЗДУМНОЕ БЫЛОЕ*

- * Эти автобиографические заметки написаны по любезному предложению писательницы Линор Горалик для ее книги “Частные лица” (М.: Новое издательство, 2012). (Здесь и далее — примечания автора).

Начну с оговорки. Мне уже случалось рассказывать о себе — в автобиографической прозе и в нескольких интервью. И конечно, у меня в памяти сохранно некоторое количество более или менее складных “топиков” на заданную тему... Дело даже не в том, что мне скучно повторять их, — здесь другое: я не очень уверен, что от пересказа к пересказу не шлифовал собственные (или даже не собственные) воспоминания. Как латаешь сон, сочиняя сюжетные перемычки между разрозненными эпизодами, а после неоднократного пересказывания забываешь, что вообще-то эти связи тобой же домыс-

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

лены. На этот раз постараюсь вспоминать как бы
наново, а не сбиваться на обкатанные версии.
Хотя факты есть факты.

Я родился 21 декабря 1952 года. Времена меняются, и все реже, узнав эти число и месяц*, мои собеседники делают большие глаза и издают особые звуки. Еще сравнительно недавно и мимика и междометия гарантировались. Первый свой крик я издал в роддоме имени Грауэрмана. Некогда название славного медицинского заведения было своего рода знаком московского качества и даже шиком — поводом для шутейного гранфаллонства**. Первый крик я издал запоздало: был придушен

* 21 декабря — день рождения Сталина.

** Такое слово выдумал Курт Воннегут для обозначения ложной духовной общности.

пуповиной, что имело кое-какие последствия в будущем — например, освобождение от армии.

Семья, откуда я родом, кажется мне типичной советской семьей — в том смысле, что такие социально чуждые друг другу люди могли породниться только благодаря историческому катаклизму. Скажем, именно меня, каков я есть, наверняка бы не было на свете, не случись октября 1917 года, — и нас, таких, миллионы. Парадоксально, что все члены нашей семьи были настроены в большей или меньшей степени антисоветски.

Лет полтора назад мой прапрадед по отцу был купцом второй гильдии (по-польски “гандлевать” и означает “торговать”), “Мойсеева закона”; его сын, мой прадед, был врачом с университетским образованием. Недавно нашелся его послужной список, из которого явствует, что в 1904 году Дувид (так!) Гандлевский призван из запаса на действительную службу медиком в Маньчжурскую армию и командирован в Харбин. (Мой дед рассказывал, что когда его отец, воротясь с русско-японской войны, склонился, небритый и в шинели, над его кроватью, маленький Мозя не узнал

его и заверещал: “Поцилейский, поцилейский, заберите этого городского!”) После революции оба сына Давида Гандлевского, мой дед Моисей и младший брат его, Григорий, оставили родительский дом в Черкассах и приехали в Москву. Они были интеллигентными — образованными, трудолюбивыми и порядочными — людьми. И один и другой сделали честную карьеру: Григорий стал химиком и впоследствии — лауреатом Сталинской премии, а Моисей, инженер, в войну дослужился до уполномоченного наркома вооружения Д. Ф. Устинова. Есть семейное предание, что Устинов, ценя деда, раз-другой спасал его от ареста, накануне чисток отправляя в долгосрочные командировки в какую-нибудь глухомань. Женитьба деда была совершенным послереволюционным мезальянсом: моя бабушка, Фаня Найман, — уроженка местечка Малин под Киевом; ее отец был законченный шлимазл*, наплодивший прорву детей. Некоторые из тех, что выжили (а не погибли от болезней, по недосмотру старших или от рук

* Недотепа, человек, которому постоянно не везет (*идиши*).

погромщиков), естественным образом шли в революционное движение и оказывались своим чередом в Сибири, где по окончании срока ссылки и осели. Уже на моей памяти в квартире дедушки и бабушки наездами жили раскосые и скуластые потомки якутских Найманов. Это — что касается отцовской родни, о которой у меня кое-какие отрывочные сведения имеются.

Куда туманней происхождение моей матери, Ирины Иосифовны Дивногорской, потому что она была по обоим дедам из попов, то есть “лишенкой” по советским понятиям. Отец ее, ветеринар и попович Иосиф Дивногорский, умер, когда маме было четыре года. Маминого деда с материнской стороны, Александра Орлова, отправили в лагерь на Соловки, видимо, в самом начале 30-х. А потом, по слухам, перевели в Казахстан, где он и сгинул. Сколько-то лет назад я познакомился на Соловках с Юрием Бродским, историком-петербуржцем и специалистом по Соловецким концентрационным лагерям. Вскользь я рассказал ему о своем предке, попе и здешнем узнике. Через два-три дня мы случайно

встретились с Ю. Бродским на причале за полчаса до моего отплытия в Кемь. И он сказал, что после нашего разговора порылся в архиве и набрел на одно-единственное упоминание о моем прадеде: “Справляли Пасху в священнической роте. У Александра Орлова нашлась банка шпрот”.

По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал маму о ее родне, а она помалкивала — десятилетия социального изгойства приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и беспомощных женщин — вдовы-попадья, вдовы-поповны и девочки Иры: хамские коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и проч. Так что с материнской стороны — белое пятно. Лежат у меня в картонной коробке из-под допотопных конфет несколько поздравительных — с Пасхой и Рождеством — открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и подписями; осталось несколько фотографий

больших священнических семейств, расположившихся на лавочках вокруг родоначальников-батюшек перед деревянными одно- и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках, спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов — Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан имел какое-то отношение, но я — последний, в ком эта тусклая полупамять еще как-то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед приходом немцев архивы уничтожались.

Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение нашего круга к нынешней власти. В конце 80-х — начале 90-х мы приветствовали новые веяния сверху — сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с государством ничего общего. Но тем не менее я вступаю за энтузиастические 90-е, когда кто-нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский нигилизм и дед (отец куда в мень-

шей мере). Но родственники-то с материнской стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили как бы вне истории — просто попали под раздачу. Да еще как попали!

Так что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону — русским, я жил и воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурацкое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родительская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам) я — было мне лет десять — спросил отца, почему у всех интеллигентов волосатая грудь. (А то, что мы интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца мой вопрос озадачил. Но из этой, детской и фантастической, причинно-следственной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с семитски обильной растительностью, я тогда не встречал. Впрочем, и семья, и родительские друзья-знакомые были людьми вполне — и сознательно — ассимилированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему считались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.

Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой... притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормозят, по-домашнему зовут Ёжиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает. И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвращаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправдами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения,

неожиданно закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище Нездоровица; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персонал. “Нездоровица, куда лопатку подевал?”

Но вообще всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством нередко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.

Не то у меня. Почти еженощно, лежа на спине в считанные секунды отхода ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую-нибудь малость полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побегжку Рагдая — немецкой овчарки из углового подъезда... (Иметь собаку было *idée fixe*. Я даже вставал на час раньше, что-

бы до школы — зимой! в утренней темноте! — побродить хвостом за каким-нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса. Заодно влюблялся и во владельца.)

Повезло и с ежегодным каникулярным летом. Ужас пионерского лагеря ограничился для меня всего одной сменой классе во втором — в третьем. Мало, как сейчас говорят, не показалось. Знал бы отец, до какого немыслимого градуса разом подскочило сыновнее обожание, когда папина рубашка-бобочка мелькнула у административного корпуса, кладя конец моему многодневному отчаянию! И с тех пор были только дачи, бабушки, прекрасные поездки всей семьей: на байдарках либо в какую-нибудь российскую или украинскую глухомань и т. п.

Своей дачи не было (дед, когда был в фаворе, по принципиальному небрежению отказался и от дачи и от машины), поэтому снимали то в подмосковных деревнях (теперь это та самая Рублевка), то в профессорском поселке недалеко от Болшева. Велосипед, Уча, Клязьма, Москва-река, подростковые шашни, чтение — все

как полагается. Плюс собака. Мне было девять, когда родители поддались на мои мольбы и купили щенка. Так что к моему нынешнему предпенсионному возрасту на вопрос, люблю ли я собак, я, скорее всего, пожму плечами: ей-богу, не знаю. Но за пятьдесят лет вошло в привычку, что какая-нибудь трогательная и уморительная тварь живет с тобой под одной крышей, требует жратвы в урочный час и понуждает к прогулкам в погоду и непогоду. Вспомнил, кстати, одно маленькое сбывшееся пророчество. Мне не было пяти лет, когда мать на сносках спросила: “Ты кого хочешь — брата или сестру?” — “Бульдозера”, — ответил я, имея в виду бульдога, вернее — боксера. В сорок лет я и обзавелся боксером Чарли, а теперь у меня семидесятикилограммовый недотепа Беня, бульмастиф.

С братом в детстве и отрочестве мы не больно-то ладили. Я изводил его как мог, например прикидывался мертвым и наслаждался его горем. Он тоже в долгу не оставался — вредничал, зная, что родители почти наверняка возьмут его сторону. Детская жестокость объясняется, мо-

жет быть, тем, что человек заново и на ощупь, как слепой в незнакомом помещении, осваивается с душой, испытывает обнову так и этак, в том числе и пробной жестокостью.

До школы я был тихим, упитанным и задумчивым. Родители вспоминали, как, забирая меня из детского сада, всякий раз спрашивали: “Ёжик, ты что такой грустный?” — “Я не грустный, я веселый”, — отвечал я скорбным голосом. Однажды мы шли с отцом, он оступился в лужу и ушел в нее с головой — лужа оказалась перелившимся через края открытым канализационным люком. “Папа, ты куда?” — спросил я.

Отцовскими стараниями годам к пяти-шести я стал читать. В чтение я не с ходу втянулся. Сперва отец мне пересказывал “Робинзона Крузо” и всякое такое. Первой самостоятельно прочитанной книжкой была “Борьба за огонь” Жозефа Рони-старшего про уламров каких-то — потом пошло-поехало: Купер, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон...

Расскажу о нашем жилье. Но для этого придется снова говорить о временах, когда меня

еще на свете не было. Отец до женитьбы жил в родительском доме — добротном сталинском строении на Большой Пироговке. Там сейчас живет семья моего дяди, Юрия Моисеевича; квартира эта и поныне воспринимается мною как фамильное гнездо. Перед самой войной, когда ее дали деду, это было — на общем жилищном фоне, — конечно, роскошью. Но жили в этих трех маленьких комнатах по возвращении из эвакуации, по существу, вповалку: дед с бабушкой, два брата — отец с младшим братом — и бабушкина местечковая сестра Неха с дочкой-подростком Инной, отца которой, по обычаю той эпохи, расстреляли. Домашняя атмосфера, судя по рассказам, была специфической, хотя и показательной. Дед-начальник дневал и ночевал на службе, появлялся редко, внезапно и внушал трепет. Жизнь с верховной подачи мыслилась как нечто, приводимое в движение силой воли и движущееся по колее долга. А поскольку соответствие спущенным сверху идеалам превышало меру человеческих возможностей, домашние, дети в особенности, чувствовали себя

виноватыми в собственном несовершенстве и в свой черед упражнялись на детском уровне в административно-командных взаимоотношениях. Такой получался классицизм — в тесноте и обиде. Понятно, что привести сюда молодую жену мой двадцатипятилетний отец не хотел и въехал в коммунальную квартиру на Можайке, где жила мама со своими социально предосудительными матерью и бабушкой в двух одиннадцатиметровых комнатах-пеналах.

Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали внезапные кратковременные исчезновения отца — это он с непривычки и по застенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на тогда еще дикий берег Москва-реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала: политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили его в кутузку для выяснений: трасса-то правительственная...

Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десятков семей и проч.) — в такой я бывал, навещая нашу с братом названую бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется, расстрелян), подругу умершей в середине 50-х маминной мамы. В доме Веры Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57-й школы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты — наши, за стеной — еще четверо: родители и две дочери. Глава семьи — кухонный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пересказом газетных передовиц, тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией-палиндромом Ажажа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое время энтузиаста-уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магнитофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне

с бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где в конце концов прения сторонников и противников существования внеземных цивилизаций прервал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.

Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажи главным образом не заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни (“Сigaretой опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку...”) — был магнит попритягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.

А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови испортила музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в самой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут старорежимного воспитания — ума не приложу! Может быть, именно в противовес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по соседству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда-сюда смычком по струнам, потом пересел за пианино, держал кисть руки

“яблочком”, барабанил через не хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынешняя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Просто в приданом жены оказалась коробка с “Бранденбургскими концертами”, и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.

А обязательное среднее образование я получал до середины девятого класса по месту жительства — в районной школе № 80 (потом она сменила номер на 710). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже хорошей, впрочем, именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.

Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати-тринадцати я из тихони превратился в подростка с норовом — мой дневник ломился от дисциплинарных замечаний вроде: “На уроке географии бросал тряпку в Казакевича” и т. п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего учительства, жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие юнцы знают кое-что,

по сравнению с большинством, не знающим вообще ничего, но ведут они себя, будто знают все, — и умерить их апломб непросто.)

Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной, чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче — в отдельной квартире по соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два, я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка-родоначальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого “похитителя велосипедов”, изумленно пробормотала: “Аид?”*

* Еврей (*идиш*).